

18+

Юрий Меркеев

Паук Жигулев

Записки сумасшедшего

Юрий Меркеев
Паук Жигулев.
Записки сумасшедшего

«Издательские решения»

Меркеев Ю.

Паук Жигулев. Записки сумасшедшего / Ю. Меркеев —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-939808-6

**НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД
ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ
УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.** В
повести нижегородского писателя Юрия Меркеева «Паук Жигулев» —
девять токсичных месяцев одного года, шестнадцать глав из жизни опийного
наркомана великой страны. Злоключения и прыжки из рая в ад и обратно
заканчиваются после звонка на прямую линию президенту. Паук Жигулев
обречен исправиться через больницу — психиатрическую, влезаящую в мозг.
Что из этого вышло? О, эта история достойна, чтобы ее прочитать! Книга
содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-939808-6

© Меркеев Ю.
© Издательские решения

Содержание

(записки сумасшедшего)	6
Глава 1	7
Глава 2	10
Глава 3	14
Глава 4	17
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Паук Жигулев Записки сумасшедшего

Юрий Меркеев

© Юрий Меркеев, 2020

ISBN 978-5-4493-9808-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

(записки сумасшедшего)

Надо читать, повторяю, потемки чужой души, надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть там дрянь одна – все равно: смотри и читай, смотри и не плюй...

В. Ерофеев «Москва-Петушки»

Глава 1

Мне от жизни многого не надо. Вершина счастья – проснуться в *своей* постели и обнаружить, что вчера я все-таки изловчился оставить записку на утро. Бог мой! Ничто так не радует большого человека, как уютные мелочи бытия.

Начнем с того, что я мог бы проснуться на улице или, хуже, в притоне. Оказаться в мрачной милицейской камере или тошнотворной больничной палате. А мог бы очнуться в мире ином, хочется верить, более праздничном, чем этот. Впрочем, открыть свой день без записки – это все равно, что проснуться в аду. Ни капли преувеличения. Именно в аду последнее время я пробуждаюсь, потому что записки, как правило, утром уже нет. Кажется, все так просто. Выбрал из пузырька с лекарством пару кубов и положил до утра в холодильник. Пока в здравом уме и твердой памяти. Записка для расхристанных типов, вроде меня, это практически завещание. То есть, то единственно ценное в жизни, без которого сам рай окрашивается в погребальные тона. Но в том-то и дело, что холодильник обычно на утро пуст. Люди, знакомые с этой чертовщиной, поймут меня. При тщательном исследовании дня вчерашнего обнаруживается этакая гаденькая минутка, когда пузырек с лекарством самоуверенно мнется в руках, а внутренний голос нашептывает: «Дружище, зачем тебе размазывать удовольствие? Оно же не масло, а жизнь твоя не бутерброд. Возьми счастье в свои руки, оно не призрачно. И вышли вдогонку к трем кубам еще два». И высылаешь. Внемлешь нежному голосу тела и совсем не слушаешь мозги, которые скорбят заранее: «А завтра? Что ты будешь делать завтра, когда проснешься? Сегодня ты прыгаешь с облачка на облачко, как блаженный барашек из мультика, а завтра очнешься на дне глубокого адского колодца и начнешь выть совершенным волком».

И точно. Так всякий раз бывает. В раю совсем теряешь практические свойства мозга. Блаженство, которое уже и не совсем блаженство, а только *боль, вывернутая наизнанку*, растапливает остатки мелкой расчетливости. Сколько раз это уже было! И будет еще столько же раз. Люди молитвенные, и те просят хлеба насущного на день вперед, понимая, что день долог, мрачен, и пуст, и чреват опасностями. А тут – существо, расхристанное донельзя, расщепленное на прогивший дух, полумертвое тело и тупые мозги, – забывает о самом главном – записке.

Время года для ада значения не имеет. За окном октябрь – холодно, сыро, темно. Низкие депрессивные тучи проплывают над городом, садятся на маковки церквей, расстилаются слезливым мороком, наполняют улицы, квартиры, дома, черепные коробки. Но если вам кажется, что ад толкает на что-то скверное, вы ошибаетесь. Ад ни к чему не толкает. Хочется тупо лежать под одеялом и жалеть весь мир – да, меня всегда пробивает на жалость ко всему живому, когда в душе мрак. Жалко до слез, что человек так смешно устроен, что ему необходимо непременно влить в кровь хотя бы пару кубиков лекарства, чтобы он ожил, воскрес, начал жить и творить. Смешно и горько. Парочка кубиков раствора, и я начну возвращаться к жизни. В душе моей запоют ангелы, а тучи вмиг обернутся дурашливой детворой, которая играет с человеком в прятки.

Закрываю глаза сразу после того, как резиновое доньшко поршня упрется в кругленький носик шприца, скользит волна райской теплоты, поймать не трудно, но не ловится... *Раз-два-три-четыре-пять, я иду искать*. Смотрю на мир суженными зрачками, и нет мрачных туч. Попрятались, забавные небесные интриганы. Перевернулись белыми брюшками и превратились в барашков. Бегу-бегу, как в мультике, прыгаю с одного плюшевого облака на другое, лечу в невесомости, смотрю наверх, вижу солнце, вниз гляжу – золоченые маковки церквей. *Маковки*. Все милое сердцу. И как хорошо жить на свете. Как счастливо становится на душе, когда кругом *маковки*.

Люблю праздник Маккавеев. Все равно, что ветхозаветные мученики. Главное – календарь. Праздник середины августа, когда поспевают мак. Маккавей – мак вей! Деревенки с маковками куполов церковных, в домах за иконами сухие головки с зернышками, трещат как музыкальные инструменты, погремушки для младенчиков. Все мы младенцы в боге. В деревнях сочиво делают из толченых зернышек, приговаривают святые молитвы. Ах, благодать какая!

Стоп. Размечтался. Заначки нет, а без нее нет мне никакого рая. Нужно собраться с силами и спуститься из ада в ад. Тридцать девять ступенек. Не упади. Не оступись. В аду переходим малыми шажочками. Тридцать девять ступенек вниз, потом две сотни шагов до трамвайной остановки и вечность ожидания. Сначала появится Валера, хмурый, противный Валера с мускулами богатыря и мелкими глазками старухи-процентщицы. Валера будет прохаживаться по остановке взад-вперед с видом гениального превосходства. И он прав – ему хорошо еще с вечера и будет хорошо завтра утром. А если ему хорошо, то он уже в превосходной степени рая по сравнению с бледными тенями, только что выбравшимися из ада. Нас много, Валера один. И все хотят теплоты, которая гуляет по венам Валеры, но не у всех имеются деньги, чтобы купить теплоту.

У меня денег нет, но есть желание рая. И я пробуждаюсь от паутинного плутовства мыслей, мне надо, надо, надо. Поскорее надо мне и моему телу. И душе, и мозгам, и всему «я», расстроенному и расхристанному, чтобы снова собрать себя воедино и восторжествовать. Октябрь. Тридцать девять ступенек и две сотни шагов до возможного рая. Пора. Царствие небесное понуждением берется. Царствие земное тоже. Тяжелы абстинентные утра, ой, как тяжелы.

Одеяло чугунное, сдвигаю его как погребальную плиту. Кровать – могила, потому что заначки нет. Если бы я знал, что в холодильнике меня ждет два кубика счастья, я подпрыгнул бы на постели как цирковой акробат и, мир перевернулся бы с головы на ноги, а потом сразу снова на голову, и так несколько раз, до седьмого неба. Мечта. Теперь время начнет канителиться, насмеяться надо мной, показывать зубы вместо улыбки, а часовая стрелка будет стоять на месте, словно привязанная к пудовой гире. Самое тяжелое время – утро без заначки. Бремя всех бед, собранных воедино.

Долго всматриваюсь в черный джемпер, в котором вчера лег спать. Вот они – два кубка безрассудства. На груди ровно обуглен кружок от выпавшей из рук сигареты. Если посчитать дырки на джемпере, то их будет ровно столько, сколько осенью у меня было адских пробуждений. Потому что вдогонку к двум кубам летит таблетка димедрола, а это, надо признаться, совсем уже бессовестно. Потому что безрассудно. И сигарета в постели всегда выпадает из руки ровно в тот момент, когда переплываешь рубеж между седьмым небом и беспамятством. Тело расслаблено, мозги спят, выносите меня из квартиры, демоны, ангелы, я не произнесу ни слова возражений.

Тошнота – привычное дело. Токсикоз от бремени бед. Волосы всклокочены, как у питекантропа, глаза шальные, желтые, красные, щетина клочками. Иду-бреду в полутьме адовой почти на ощупь до туалета в трусах и продырявленном джемпере, бормочу молитвы и жалею весь мир. Увижу паучка в туалете – расплачусь. Паучок совсем высох без мух. Мученик. Замечу на плафоне в ванной комариное кладбище – разрыдаюсь. Глупые твари, они летели на свет лампы, а попали в ад. Нужно постараться умыться так, чтобы не стошнило. Если только с закрытыми глазами под струю холодной воды. И без резких движений, способных спровоцировать пищевод.

В зеркало не смотрю. Боюсь. Знаю, кого там встречу. Зачем усугублять? Нервы итак на пределе. Свет включать не люблю. По пути в ванную – двойная дверь в комнату родителей. Витражи расписаны *Papaver somniferum*. Мак снотворный. Каждый лепесток как живой. Отец попросил сделать. Когда был живой. И мама радовалась моей работе, когда была жива. Они

закрывали свою комнату на ключ, а через расписанные густыми красными цветами витражи, я не мог разглядеть, есть ли кто дома. Но если просачивался свет сквозь витражные маковые головы, я знал, что родители не спят, и я могу попросить в долг денег. Давали, потому что жалели меня. Пять лет они уже в ином мире, а мне иногда по утрам мерещится, что там, за масляными маковыми головами, похожими на церковные купола, пробивается свет. И я слышу их шепот. И это как пение ангелов.

– Ты же обещал, сынок?

– Обещал, мама, да сил больше нет.

– В прихожей висит мой плащ. Возьми из кармана деньги. Только все не бери. На хлеб оставь.

– Я верну, мама. Только до остановки сбегаю, здоровье поправлю и на работу.

– Только в кафе не заглядывай. Там наши рабочие заводские, все знакомые. Упрашивать будут, чтобы выпил сто грамм. А тебе нельзя, – вторит маме отец. – Помни об этом. Нельзя. Контузия. Не усугубляй. Купи лекарство и на работу.

– Не пей, сынок. Контузия. Опять в драку полезешь. Или тебя побьют. А ты и не помнишь, что было. Возьми в кармане плаща деньги. На хлеб оставь. Остальное возьми.

– Хорошо, мама. Спасибо, отец. Пить не буду. Помню все. Куплю лекарство и на работу.

Нет больше маминого плаща в прихожей. Нет денег. И работы в том виде, в каком была назад пятилетку, тоже нет. А маки на витражах остались. Закрывают от меня видимость того света. Да. Именно, *того света*.

Глава 2

Пять лет прошло, а я иногда отчетливо слышу их голоса из той комнаты с маками на витражах. Слышу, когда просыпаюсь в аду без заначки. И брожу по квартире, разговаривая с самим собой.

Но с утренним лекарством все меняется. Во всех комнатах я зажигаю свет, включаю телевизор на любой программе, наполняю пустоту какой-нибудь музыкой. В раю мне необходим шум. Беспольный, ядовитый, безжалостный. Потому что в раю мне недостает ада. Должна быть какая-то гармония, и я компенсирую загнанную в подполье душу внешним праздником. У нас запляшут лес и горы. У нас станцуют церкви за окном, а серые брюхатые тучи извернутся белыми барашками и станут по моей команде танцевать фокстрот на скользких покатых черепичных крышах. В аду мне хочется тишины и жалости, в раю недостает праздничного шума и диктатуры. Я уже признавался, что расхристанному существу трудно соединить воедино больной дух, израненное тело и пропитанную ядами душу. Соединить так, чтобы почувствовать настоящее счастье, а не поддельное, временное. Все понимаю, мирюсь, никого не осуждаю. У меня одна беда, у соседа по «палате» другая. У кого повернется язык опровергнуть суждение о том, что все мы в этой жизни как пациенты планетарного сумасшедшего дома? Вглядись в себя, человек, взглядишь в горе и радости, в опьянении и с похмелья – и ты поймешь, что я прав.

А что если начать утро в аду не так, как всегда? Что если зажечь свет во всех комнатах? Побриться, помыться, вогнать в себя стакан крепкого чая с анальгином и пойти? Быть может, что-то изменится в окружающем мире? Надавить на кнопку телевизионного ящика и – пусть стошнит! В конце концов, телевизор и раньше вызывал рвотные рефлексы. И пусть будет жалость ко всему и всем. Я не стыжусь своих слез. Потому что человек не может быть меньше двух кубиков опиумного раствора, а он меньше. Не может он прыгать из рая в ад от иглы, загнанной в вену. А он прыгает. И зачем тогда эта раздвоенность бытия? Зачем есть заначка, и нет изобилия? Ведь если было бы изобилие, тогда не нужна была бы заначка. И не было бы этой шизофренической раздвоенности бытия. Разве это не так же ясно, как дважды два?

Нет, я никогда не поверю тем болтунам из телевизора, которые призывают ради любви к несчастным больным лишить людей свободы выбора. Лицемерные лгуны, которым я бы прописал операцию по укорочению языков. Что они понимают, сидя в геморройных креслах и оскопленных кабинетах? Что ведают они, которые ни разу не просыпались в аду и не знали, наступит ли рай сегодня или вообще не наступит? Что может сказать хорошего, доброго здоровый человек больному? Мне жалко их, фарисейских угодников, которые при новой власти поменяли окрас, как хамелеоны, а по существу остались прежними корыстолюбцами. Спаситель сказал про них: «Гробы окрашенные. Снаружи лак и богатство, а внутри гниль!» И отпустил падшую женщину со словами: «Иди, милая, постарайся не грешить больше».

Мне жалко всех. Себя не жалко. Обидно. Какая глупость.

Что я могу поделать?

Токсикоз. Время тяжелого бремени. Тридцать девять ступенек октября. И Валера, в крови которого течет желанная теплота.

Но я остаюсь в тишине, потому что боюсь расплескать содержимое ада. Остерегаюсь бешеных схваток телевизионных программ, тугой агрессии, язвительной черноты. Хватит того, что есть во мне. Тошнотворный ком я понесу через все утро, и мне надо это смиренно выдерживать.

Утро само по себе встает колом в горле и пищеводе. Не дойти до ванной, не побриться. Максимум, что смогу – во тьме вылить на свою голову ведро холодной воды. Прилизать волосы, остудить мозги. И это уже много.

И я одеваюсь. Медленно, тихо, плавно. И в темноте. Шарю рукой в углу прихожей, нащупываю рабочую спецовку, надеваю ее, в сапоги попадаю не с первого раза, но сверху. Наклоняться нельзя. Опасно. Поясница трещит как электричество, а склонять голову рискованно. Все из меня трехсоставного может хлынуть вовне. У двери на мгновение задерживаюсь, шепчу какие-то молитвы. Ангелы меня не слышат. Я знаю это. Никто не хочет слышать человека в аду. Потому что дверь ада изнутри запирается. Я открываю дверь и делаю шаг в подъезд. Сверху льется православное радио. Полуслепая бабушка Дуся каждое утро включает радио с церковными песнопениями и делает это так, будто она не полуслепая, а полу глухая. Бабушка Дуся была знакома с моими родителями. Пять лет назад я мог бы занять у нее денег, и она бы дала мне, не боясь обмана. Теперь не даст. Я обманул ее надежды. Пообещал сварить крест на могилу мужа, взял деньги авансом, но не сварил. Пришел больной на работу через лазейку в заборе, упросил мужиков дать мне три металлических бруска из кузницы, выложил перед бабкой в форме креста и выманил у нее оставшуюся сумму. Деньги проколол, а про сварку забыл. Теперь у нее в квартире валяются бруски для креста, а я не могу занять у нее денег. Впрочем, наверное, смог бы, если захотел. Не хочу – стыдно. Время ушло, когда я умел без стыда просить в долг деньги. Это было по молодости, когда совесть умела симулировать эмбриональную шизофрению. То есть когда моя душа на мгновение превращалась в совершеннейшее дитя, не ведающее ни стыдливости, ни угрызений. Тогда я мог просто прийти и попросить. А теперь нет. Мнусь перед дверями, покрываюсь краской стыда, не знаю, что сказать. Вроде как знаю, что отдам, но просить не могу. Возраст. Проклятушая деликатность души, которая с годами только усугубляется и становится очевиднее.

С женщинами та же история. В молодости завести знакомство для меня было пустяшным предприятием, а теперь тяжеленным грузом. Только если не брать во внимания девочек из притона. С ними совсем просто – они без затей. Сольешь им кубик-другой для восстановления формы, они уж и рады отплатить, лезут целоваться, себя предлагают как вещь – попользуйся, друг, если хочешь. Но мне не надо этого. Невозможно служить двум господам – *Панарум Сомниферуму* и разврату. *Мак снотворный* притупляет телячий интерес и восстанавливает единство теплоты души и духа. Есть, конечно, другие снадобья, которые заточены именно под теленка... ха-ха-ха... даже бычка для случки, вытяжка из южно-американской культовой травки эфедры, но ей-богу, это такая гадость, что и говорить не хочу. Видел я «винтовых», нарезанных – маньяки с расширенными зрачками, носятся сутками по городу, не спят, ищут блюд изобретательный. Тьфу! Смотреть противно. Где же ваш Человек в человеке? Где степенность и духовный подъем? И чем вы, скажите, отличаетесь от подопытных кроликов, над которыми циничные дяди ставят эксперименты? Нет, друзья, одно дело – опиум, совсем другое какая-нибудь галлюциногенная травка или эфедрин. В первом случае душевная теплота руководит телом, во втором и третьем – тело шаманит над душой. Скверно это, братцы, очень скверно. Если бы меня спросили, хочу ли я, чтобы легально торговали анашой или эфедрой, я бы твердо ответил: «Нет!». Опиум иное дело. Человек под маковым раствором мягок и деликатен, как князь Мышкин. Под эфедрой – питекантроп. Алкоголь не в счет. Это другая планета – грубая, страшная, но терпимая за пять минут до открытия винных отделов или аптек. В эти пять минут мы с обитателями винной планеты в чем-то даже похожи. В интеллигентности, что ли? Или в деликатности, которая выпирает наружу и боится даже окрика, любого нестройного шума, яркого света, музыки. Боится всего.

– Андрюшка, – иногда сослепу хватает меня тетя Дуся за рукав. – Скажи-ка, сколько ступенек я прошла? Десять? Не промахнусь, чай?

– Не промахнетесь, – отвечаю я и помогаю ей выйти из подъезда. – Если кто-то не пристроил еще одну ступеньку.

– Шутишь? Это хорошо.

– Шучу. Я вообще последнее время большой шутник. Раньше не любил этого. Теперь люблю. Шутки жизнь продлевают. А язык укорачивают. Это по мне.

– Батареи-то опять у нас холодные. Пойду ругаться. Деньги платим огромные, а топить нас не хотят. У вас в квартире холодно? Аль нет?

– Холодно.

– Ты не сердчай на меня, старую. Забыла я про тот крест. Зятю наказала. Он новый сварил.

– Спасибо. А то, может быть, подождать?

– Подождать? – кукситься бабка и беззвучно смеется, похожая на куклу из папье-маше. – Опять шутишь?

– Не шучу. Подождите немного. Я вам не сваркой прихвачу, а на винты крутые посажу. Чтобы на вечность. И табличку из пластика сделаю. Золоченой бумагой оберну.

– Хиинии-ииии, – заходится тетя Дуся. – Уморил. Не готовят заранее ни свадебных платьев, ни могильных принадлежностей, ни детских пеленок. Знак дурной.

– Не могу согласиться. У меня бабушка-покойница загодя косу приготовила, и зубы велела в гроб положить. Прожила сто лет.

– Это другое. Воскреснет когда в теле, будет у нее и волосы роскошные и зубы. Я не верю в эти приметы. Чай, там все молодые будем.

– Что, совсем-совсем стариков не будет?

– Не будет. Я теперь грамотная. Ох, Андрюшка, – спохватывается соседка. – Не громко ли радио включаю? В церковь уже не дойду, а там так славно поют. Так славно. Как в раю. По радио то есть.

– Не переживайте, тетя Дуся. Мне не мешает. Пожалуй, это лучше спортивной гимнастики или какой-нибудь оперетки.

Мне нравится ее оптимизм. Едва передвигается, считает ступеньки под ногами, чтобы не промахнуться, но каждый день ходит в управление дома ругаться насчет отопления. И зимой, и осенью, и летом. Бабушка живет этим. Свой ад она предпочитает не закрывать изнутри, а выкрикивать его на людях.

Первая ступень, и хор взрывается: *«Помилуй, боже, по велицей милости твоей и множеству щедрот твоих...»*

На двадцатой ступени бородатые ангелы гаснут, и я прохожу мимо двери собачника. Цепной пес дома. Воет, кобель, на улицу просится, а хозяина нет.

Свет бьет по глазам. Неужели солнце? Откуда оно? И куда подевались тучи?

До остановки можно пройти двумя тропинками. Первая ведет мимо кузницы, барачков и церкви, вторая делает небольшой крюк и приводит сразу на остановку. С тыльной стороны кинотеатра «Родина». Когда мне дурно, я иду по второй дороге. Крайне важно увидеть обстановку торговой точки со спины. Нет ли там милиционеров? Есть ли продавцы лекарства? Посмотреть и принюхаться. Будет ли удача? А если пойти по первой тропе, то храм божий не минуешь. И там можно прислониться к оградке, закрыть глаза и взмолиться всем прогневившим нутром: «Господи, ты есть, я знаю. Помоги мне в малом, прошу тебя. Помоги лекарством. Отплатить мне нечем. Ты знаешь. Да и не надо тебе ничего. У тебя все есть. Святые большие и малые, великие, преподобные, юродивые и мученики, святители и равноапостольные. А ты меня, малого, не забудь. Помоги». И верите? Помогает. Не всегда, но помогает. Иногда от жалости слеза блеснет. Всех мне жалко. И Сонечка Мармеладова вспомнится. И отец ее горемычный. Потому что похожи мы. Нет у нас ничего, что привязывает ремнями к жизни. Мы как воздушные шарик – болтаемся на тонкой ниточке и колеблемся на ветру. Того и гляди, оторвемся, взлетим или кто-то шкодливым проткнет нас острой иглой, и вырвется все содер-

жимое. Ну и пусть. Главное – теплота внутри оболочки. Теплота, которую Мармеладовы вытягивают из бутылочек, а мы из макового раствора. Пусть рвется. Лишь бы все возвращалось на круги своя.

Глава 3

Пойду сегодня по первой дорожке. И пройду мимо церкви, передохну, прислонюсь к железной ограде, прутья которой гнул сам в кузнице. Прутья хранят тепло моих рук. Передохну немного, и еще сто шагов. Утро с морозом. Под ногами скрученная в лоскутки листва с инеем. Шорох. Пар изо рта.

Около церкви люди. Священник вылез из богатого авто и скользнул в храм. Молодой, сильный, гибкий. Не нарастил еще ни бороды, ни живота. Несколько старушек бросились под правую руку. Не могу понять этого целования. К чему оно? Да ладно – пусть лобызают. Не мое дело. Нравится ручку целовать – пусть целуют.

Двери храма распахиваются, прихожане входят внутрь, как Иов во чрево кита. Колокольный звон падает сверху и разлетается по тихой улочке. Бабушки пришли за своей теплотой. Им хорошо. Свою теплоту они получают бесплатно. А я претерплю мучения. За что? За то, что не могу жить иначе. Не могу и не хочу. Обладающий свободой воли человек страдает за собственный выбор. Так всегда и со всеми. Никто не заставлял меня под дулом пистолета принимать свою теплоту. Я избрал ее сам, в трезвой памяти и твердом рассудке. Теперь не отрежусь. Впрочем, когда я делал свой первый шаг, я еще ничего не понимал в жизни. А когда понял, было уже поздно. Свой выбор я сделал. Свобода – хитрая штука. Она как чрево кита – войди туда, человечество, из любопытства проникни в зияющую даль. Поймешь, что оказался между молотом и наковальней, когда упруешься в пол и небо, и решишь назад. Теперь будь уверен – не ты извергнешь из себя кита, а кит, когда пожелает извергнуть наружу. Будет ли чудо – вопрос. А пока сиди и молчи. Ты свободен.

Прислонился к церковной решетке, вскинул голову вверх. Небо ясное, купола золотые, черные птицы, грачи, кажется. И вдруг – черный снег. Сыплется хлопьями, падает оземь, тает на глазах, оставляя после себя чернильные лужицы с бензиновыми разводами. Что со мной? Или с природой? Поворачиваю голову, чтобы посмотреть на реакцию прохожих.

– Опять выбросы ночью были, – говорит охранник церковный, выходя покурить за ограду. – Наш комбинат по ночам орудует. Я там работал.

– Выбросы? Бумажный опять тошнит?

– Умно говоришь, – щурится служивый. – А ты кто?

– Человек, должно быть. Или выброс в сторону человека, может быть, не самый ядовитый. А ты кто? Должно быть, тоже человек?

Не нравятся охраннику умные беседы по утрам – нутром чувствую. Поэтому закругляюсь.

– Ты не напрягайся, братишка, это я от грусти. Черный снег. Птицы черные. Кругом нет просвета. Хоть волком вой.

– Ты мне не брат, – хмурится богатырь. – Подаяния не будет. А в церковь не пушу. Странный ты, дядя.

– Странный, – соглашаюсь я. – Очень странный. Стою тут и с тобой беседую. Странный.

– Ты что это? Издеваться? Я с ночи. Нервы. Нажму кнопку, тебя мигом оприходуют.

– Я сейчас уйду, – отвечаю. – Постою около прутьев и пойду.

– Ну-ну, – втягивает в себя папиросу охранник и выдыхает перегарный дух. – Ну-ну.

Едва сдерживаю ком в пищеводе. Не хорошо будет, если из всех щелей моего трехсоставного «я» брызнет тошнота. Не столько материальная, сколько душевная и духовная. Эта тошнота копилась годами. И черный снег с целлюлозного комбината, и перегарный дух охранника вполне могут спровоцировать меня на метафизический бунт. Не хорошо будет около храма. Бессовестно. На трамвайной остановке – ладно. В тылу кинотеатра «Родина» – тоже как-нибудь. Только не у храма. Ведь верую же я? А как же? Без веры куда? Теплота мне нужна,

чтобы выйти из ада. Теплота, которая сейчас, возможно, бежит по венам Валеры и тех, кто купил теплоту.

Иду вперед, занимая голову приятными воспоминаниями. Как-то летом родители уговорили меня уехать в деревню, чтобы переболеть. Лет десять назад это было. Оставил я всех и вся, и умчался в далекую деревеньку. Месяц работал в поле, помогал родне по хозяйству, косил траву, полол огороды, воду из колодца носил. Вроде как поправляться начал. Мускулы налились силой, румянец заиграл на щеках. Мог спокойно засыпать, просыпаться. Молоко парное, природа, пешие переходы меня оживили. Как минимум, одно «я» из трех, стало послушным и крепким, как молодой теленок. Тело мое. То есть то «я», которое не может отдельно от души и духа. И случилось нечто, что навсегда определило меня цельного. Понял я, что мне здоровье телесное – не самая главная в жизни вещь. Есть нечто большее, скрепляющее все три «я» воедино – та самая теплота, энергия, дух. Я не мистик, но произошел казус онтологический, определяющий меня как единицу вселенной.

Был август, густой, наливной, ароматный, изысканный. Все вокруг дышало полнотой. Нет. Даже не полнотой, а переполненностью. Знаете, как бывает, когда долго воздерживаешься от неги, работаешь правильно, правильно отдыхаешь, а потом вдруг разнежишься до ощущения радости тела? Той самой телячьей эйфории. Кажется, тронь меня травинка на ветру, и я взорвусь чем-то дремучим и буйным. Состояние на грани распушенности. Это приятно и неприятно одновременно. Приятно чувствовать силу, неприятно понимать, что ты раб самых примитивных удовольствий. Все мы рабы собственных предпочтений. По моему мнению, ярмо должно носить характер метафизический. Не скоты же мы. Люди.

Я жил в деревенском доме с тетушкой по материнской линии и двумя двоюродными сестрами. Две пышногрудые красавицы, хохотушки. Оля и Галя. Голос их часто звучал в унисон моей телячьей эйфории, крался в сон, и я понимал, что здесь в деревне я становлюсь иным – грубоватым, смешливым, сильным. Такого *себя* я не очень жалею. За два дня до отъезда ко мне подошла тетя Вера и спросила, не хочу ли я сходить в церковь деревенскую исповедаться, причаститься.

– Да, тетя Вера, хочу.

А хохотушка Оля, которая стояла поблизости и кокетливо косилась на меня, прибавила:

– Он еще не успел нагрешить, мамочка. Пусть не торопиться.

– ...и до медового спаса останется, – рассмеялась Галина, соблазнительно поправляя на груди маленькую цепочку с крестиком. – Я с братом о философии хочу поговорить.

– А ну-ка в дом, хохотушки, – прикрикнула тетя. – Дайте с серьезным человеком поговорить.

Сестры отошли к сениям, стали шептаться, хихикать.

– Я ж ведь знаю, почему ты приехал, – сказала тетя Вера. – Мама твоя звонила. Переживает. Просит, чтобы ты в церковь сходил. Как бы точку поставил в исцелении.

– Исповедаться, говорите, причаститься?

– Так надо, Андрюша, поверь. Ты поправился, я это вижу. А вернешься в город, там что? Опять пойдешь по той же дорожке?

– Не знаю. Не думал об этом. Тут хорошо. А в городе все по-другому. Тут не могу, а там не хочу. Выходит, что опять на ту же дорожку. Нет полной радости, тетя Вера. Нет правды. А я болею от этого. И лекарство у меня одно. Боюсь, что точек я ставить сам не хочу. Многоточие, пожалуй. Не люблю в таких делах ни точек, ни восклицательных знаков. Вопросительных тоже не люблю. Меня никто не заставляет жить так, как я живу.

Воскресным утром отправился в храм. Исповедался. Долго, подробно, искренне. Все рассказал старому священнику, что мучило мою совесть. Об одном не рассказал, потому что угрызений совести не чувствовал. Люблю раствор маковый. Разве это дурно? Против совести разве? Нет. Потому и скрыл. До причастия оставался час. В церкви душно. Вышел я из храма и решил

по деревне побродить. Хожу мимо домиков приземистых и высоких, новых и потрепанных, люблю старину. И вдруг вижу в одном из огородиков кустики мака. Того самого. *Papaver somniferum*. Махровые листочки красные, стебли тонкие, головки тяжелые, налитые. На перси женские похожие. Прикоснись к ним травинкой, и брызнут молочком. Это же точно как у меня на витражах. И тут взмолились две мои составляющие – душевная и духовная. Надо брать верх над телячьей эйфорией. Да. Дружище, не для тебя эта телесная радость, которая не приносит счастья. Не для тебя веселье молодого бычка, которого вскоре поведут на заклание духу. Выше надо быть этого. Мечтать не о сладком меде, а о грезах с горчинкой, вытянутых из головок маковых.

В два прыжка оказался у цели. Сильными движениями вспорол чернозем огорода, вырвал раскидистые кусты мака, и в дом. Заварил в кастрюльке. Испил напиток и задремал на часок. Проснулся, когда прихожане из церкви пришли. Тетя Вера спросила:

– На исповеди тебя видела, а на причастие не пошел?

– Не достоин я, тетя Вера, – ответил я узкими зрачками внутренней теплоты. – Причастился другим.

– Ах, этим? – всплеснула руками тетя.

– Этим, – ответил я. – Зачем же обманывать боженьку? Самого себя и то не обмануть.

Глава 4

На трамвайной остановке клубится народ, ожидает транспорта. Подъедет трамвай, похожий на ископаемое палеолита, всосет в себя безропотных тружеников, примет их, сделает единой массой, переварит в холодном металлическом чреве, выбросит порциями на остановках, и снова за скрипучую работу. Люблю трамваи. С детства люблю. Есть в них что-то сентиментальное и родное. И три копейки, запотевшие в ладони, помнятся, и особенный свет из окон, когда темно. Искры сверху и снизу – праздник.

Бог мой! Сорок лет пролетело как в тумане, а мир почти не изменился. А если изменился, то не в лучшую сторону. Уплотнилась агрессия, хмурость, темнота. Церквей стало много, а света мало. Парадокс? Все те же недовольные усталые лица, утренняя тошнота. Если бы не опиум, я растворился бы в серости, у которой миллионы оттенков. За что же мне ругать *папавер сомниферум*? Есть у меня и цель в жизни, и смысл. Нет только понимания того, почему какие-то дяди с большими головами решили, что опиум хуже, чем алкоголь. Зачем вместо меня определили, что есть хорошо, а что плохо? Для чего расписали мою свободу на годы вперед? А если я не такой, как все? Если не нравится мне набор побрякушек, называемых ценностями мира сего? Неужели вас не тошнит от телевизора? Меня тошнит. Уже давно. Включаю его исключительно в качестве рвотного средства.

Вы скажете, что я смелый такой потому, что бояться мне нечего. И потерять ничего не жалко, кроме своих оков. Не правда. Вы скажете, что с меня взятки гладки, потому что я трижды сиделец в психиатрической клинике? Отвечу – чушь. Долги родина взимать умеет – и когда мне, восемнадцатилетнему, в руки сунула автомат, и когда ответила на мою утонченную честность толстой историей болезни, похожей на фантастический роман, в котором главный герой оказался вдруг на процессе. Включили свет в большом куполообразном храме без бога и нацелили прожекторы на меня. *Вы признаете себя виноватым? Конечно. Я во многом виноват. Разве есть люди невиновные? Нет. Всегда найдется хоть капля вины.* И меня, худенького человека с толстой историей несуществующей болезни, обрядили в сумасшедшего. Психопатия – это не болезнь, аномалия характера. С точки зрения умных дядь, я личность незрелая, ненормальная, бунтующая, не желающая принимать ценности этого мира. Диагноз звучал как музыка: «Наркомания опийного круга». Братство кольца. Я был вдохновлен этим диагнозом и решился на откровенность. Но вместо умной полемики дяди в белых халатах стали пичкать меня нелепыми вопросами:

– Андрей Иванович, чем дерево отличается от полена? Кобыла от лошади? Армейские сапоги от полной луны? Как звучит столица республики Конго? Кто президент Вьетнама? Кто написал «Цветы зла»? Чем курица отличается от яйца?

Боже мой! Да какая мне разница, кто президент Вьетнама? Чем курица отличается от яйца? Разве в этом дело? Все сотворено из единого божественного вещества. Какое мне до этого дело? Мне нужна моя теплота, энергия, жизненная сила. Я нахожу ее в травах из семейства маковых. Я никому не хочу зла. И не считаю, что «цветами зла» можно назвать маки. Все от бога, все есть лекарство и яд – в зависимости от меры. Тогда почему я психически болен? Да бог с вами. Готов и это признать. Не лишайте меня свободы. Дайте то, что отличает человека от выброса в сторону человечества. Так нет же. Тревожная кнопка в руках охранника может оборвать мою свободу и снова загнать меня под навес метафизического процесса.

– Ты виноват?

– Да. А кто из нас не виноват?

– Обещаешь жить как все?

– Не могу, ваше высество. Не желаю. Готов пойти на крест.

- Ну и болван. Возьми наше и избеги креста.
- Не могу ваше. Хочу свое.
- Ну и осел.
- Да, ваше вашество. Не только осел, но и бог ослов.
- Каково твое последнее желание?
- Как у Тиля Уленингеля.
- Это какое?
- Поцелуйте меня в уста, которые не говорят по-фламандски.
- Осел.
- Богослов.
- Пошел к черту.
- Слушаюсь.

Через дорогу кафе «Чудо». В восемь утра там уже томятся фигуры знакомые, небритые, с похмелья. Алкоголь – не мое, но алкоголиков понимаю, как себя самого. Минуты до открытия питейного заведения – это все равно, что шприц, занесенный над веной. Еще каплю подождать и вот оно, счастье! Венец ожидания. Растворенный кол в пищеводе. Желанная теплота в крови. Проще всего понять, кто есть на торговой точке, сразу после прибывшего трамвая. Рабочий люд устремляется в салон, трамвай уезжает, остановка оголяется. И сразу заметно, кто есть кто.

Несколько бледных сутулых фигур приметил. Ждут торговца. Валеры нет. Либо он отлучился с клиентом и вскоре вернется, либо сегодня не *его* день. И ждать нужно другого продавца. Долго ждать. Целую вечность.

В машине такси дверь распахнута, курят нервно крашенные девицы с темными подпалинами у глаз. Ночные девчонки отработали часы и мигом на точку – купить теплоты и пойти по домам или притонам приводить себя в порядок. Жалко их. Черт возьми! В аду всех жалко до слез.

Питейное заведение открывает двери. И в миг за своей теплотой устремляются мученики утреннего похмелья. И тут же, как из чрева библейского кита, назад на улицу – кричат, гикают, свистят, радуются, точно арабская молодежь на святой земле при схождение небесного огня. В руках пламенеют бутылочки, стаканчики пластиковые белые порхают из ладоней в ладонь как у факиров. У них праздник. У меня тоска. Располагаются на лавке без стеснения, разливают, шумят. Кто-то из рабочих кузницы машет мне рукой, полагая, что мне нужна их теплота. – Иваныч, иди к нам! – кричит и салютует сырком плавленным. – Иди, согрейся.

Отмахиваюсь с улыбкой, а в поясице зуд – а, может быть к ним, к этим незатейливым служителям Бахуса? К звону бутылок и смачной ругани? Нет, нельзя. Будет хуже. Нельзя теплоту одного мира мешать с другой. Все равно, что вместо колодезной воды хлебнуть керосина. Плохо будет. Я знаю. Очень плохо. Не только мне, но и людям случайным, которые не ведают тонкости бытия. Будет скверно всем, кто окажется рядом в самую непочтительную минуту моего помутнения. А это случится, будьте уверены. Пробовал множество раз. И зарекся однажды, когда очнулся в дурно пахнущей камере на цементном полу среди хмурых физиономий соотечественников. Ладно бы просто похмелье – это еще ничего. Пережить можно. Но к похмелью спиртному приумножается ломка лекарственная, а это ад в квадрате, братцы, в кубе ад, у которого вместо дна бездна. Черная зияющая пустота. Сделаешь шаг и уйдешь в геометрию отрицания, где нет даже старого круглого нуля. Одни минусы и острые шпильки раскаяния.

Вспомнил розу, которую я ковал на могилу матери. А потом пытался забыться вином, и падал все больше и ниже. Нет, друзья-алкоголики, без обид!

У кинотеатра на скамье мерзнет Купцов, его знаю отменно. Купа из первых наркоманов города. Мученик за идею. Когда-то давно привез из Питера рецепт извлечения морфина из маковой соломки – грубый рецепт, чернушный. Процесс занимал минут сорок, молодые

наивные первопроходцы собирались на кухнях квартир, замешивали соломку, запаривали в ацетоне или растворителе, вываривали, прожигали легкие химическим дурманом, как язычники грудились вокруг полученных в мистерии кубиков черной вязкой вытяжки, пахнувшей пережженным вишневым вареньем, пьянели уже от ядовитой атмосферы капища. Наконец, вытягивали через три слоя ватных тампонов в огромный шприц бордовую теплоту с запахом томатного сока, очищали ее своей кровью, снова варили, смотрели на свет – прозрачная ли получилась вытяжка? Разносили по малым шприцам, и вены горели от смол и примесей, все равно вгоняли в себя варево, кого-то трясло нещадно, кого-то тошнило, кто-то рад был и этому. Боже мой! Разве сравнится нынешняя технология с той первой? Бунт изливался демоническим способом. А нужна была всего только *теплота*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.